

АРЬЕ ГОТСДАНКЕР

# ЭГОИЗМ

повесть



Арье Готсданкер

**ЭГОИЗМ**

«Автор»

2026

## **Готсданкер А.**

ЭГОИЗМ / А. Готсданкер — «Автор», 2026

Он прошёл путь от нищего студента, таксовавшего по ночам на отцовской «шестёрке», до владельца башен. По дороге у него было три жены — и каждая похоронила своего, не похожего на остальных, мужчину. После инфаркта, банкротом, в пустой палате, куда не пришёл никто, он сделал единственное, что умел, — начал строить. В четырёх школьных тетрадях он написал жизнь, которую не прожил: ту, где не вышел тогда из палаты жены дописывать письмо. И эта непрожитая жизнь оказалась честнее прожитой. На его поминках три женщины не смогут договориться даже о том, какую музыку он любил. А единственным эгоистичным поступком за семьдесят четыре года окажется последний. Жёсткая повесть о мужчине, которому всю жизнь не хватало одного грамма эгоизма. Полтора часа чтения. Без анестезии.

© Готсданкер А., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

Часть 1. Весна	5
Глава 1	5
Глава 2	7
Глава 3	9
Глава 4	11
Конец ознакомительного фрагмента.	13

# Арье Готсданкер

## ЭГОИЗМ

### Часть 1. Весна

#### Глава 1

##### Весна. Allegro

Он замечает её в октябре, в очереди в столовой главного корпуса, где пахнет хлоркой, подгоревшей гречкой и мокрыми куртками, и сначала замечает не лицо, а то, как она смеётся — целиком, наклоняясь вперёд, придерживая поднос бедром, так, что женщина на раздаче начинает улыбаться ей в ответ, хотя за минуту до этого швыряла котлеты с лицом человека, у которого украли молодость, — и он стоит со своим подносом, на котором ничего нет, кроме хлеба и чая, потому что до стипендии шесть дней, и думает, что хочет вот так же, чтобы ему смеялись навстречу.

Её зовут Вера, она с экономического, на курс младше, и он узнаёт это не сразу, а добывает по частям, как добывают всё в девяносто восьмом году — через знакомых, через очереди, через случайности, которые приходится подстраивать. Он начинает оказываться там, где она. Это отдельная наука: знать, что по вторникам у экономистов поток в третьем корпусе, что в библиотеку она ходит после четвёртой пары, что в общаге она на пятом этаже, а он на втором, и что лифт не работает с прошлой зимы, поэтому, если правильно рассчитать время, можно встретить её на лестнице между третьим и четвёртым, запыхавшись ровно настолько, чтобы «привет» прозвучал естественно.

Он провожает её до общаги. Он чинит ей кипятильник, потом плитку, потом замок, и в комнате на пятом этаже его уже знают, соседки зовут его «Верин», и он не поправляет, потому что это лучшее, что про него сказали за всю жизнь. Он носит ей конспекты, которые она не просила. Он занимает для неё очередь на пересдачу. Он один раз стоит два часа на морозе у служебного входа в кинотеатр, потому что знакомый обещал провести на «Титаник» бесплатно, и знакомый не приходит, и он покупает два билета на деньги, отложенные на ботинки, и потом до апреля ходит в старых, с картонной стелькой, и ни секунды не жалеет, потому что в темноте зала, когда корабль уже тонет, она хватается за рукав — за рукав, не за руку, — и он сидит не дыша, боясь спугнуть её ладонь со своего запястья, как птицу.

Сказать он не может ничего.

То есть он говорит — про преподавателей, про музыку, у него её кассеты, у неё его, они спорят про «Мумий Тролля», он презирает, она обожает, и это лучший спор его жизни, он готов проигрывать его вечно, — но про главное он сказать не может. Слова есть. Слова стоят у него в горле строем, как очередь за гуманитарной помощью, и не двигаются. Каждый вечер, поднимаясь к ней на пятый, он решает: сегодня. Каждый вечер, спускаясь на свой второй, он несёт это «сегодня» обратно нетронутым, целым, аккуратно завернутым, как несут домой еду с чужого праздника. Три месяца. Ноябрь, декабрь, январь. Он успевает выучить её расписание, её почерк, её манеру заправлять волосы за ухо карандашом, очередность, в которой она ест — сначала гарнир, потом всё остальное, — он знает о ней всё, что можно узнать, не прикоснувшись, он становится мировым экспертом по Вере с экономического, и вся его экспертиза не может произвести на свет одну короткую фразу.

Она всё видит. Она видела с самого начала — девушки в девяносто восьмом году взрослеют быстрее, чем мальчики, которым кажется, что они ходят незаметно. Она ждёт месяц, это даже приятно — такая старомодная осада, когда вокруг все уже давно живут быстро и просто. Она ждёт второй месяц, и это уже смешно. На третий месяц ей становится страшно. Не за себя — за него: она вдруг понимает, со взрослой какой-то, ниоткуда взявшейся ясностью, что он может не решиться вообще. Что бывают такие мужчины — всё сделают, всё принесут, всё починят, а последний шаг, тот единственный, который нельзя организовать, а можно только шагнуть, — не шагнут. И что если ждать его шага, то можно прождать до диплома, до распределения, до другого города, до другой жизни, в которой они будут вспоминать друг друга с нежностью и злостью.

В пятницу тринадцатого февраля у Верки из двести восемнадцатой день рождения, и Вера зовёт его — помочь донести из ларька три бутылки «Монастырской избы» и торт, и он, конечно, приходит, он пришёл бы нести что угодно куда угодно. Праздник идёт своим чередом, в комнате жарко, магнитофон ест плёнку, её соседки исчезают одна за другой по какой-то заранее срежиссированной схеме, которой он не замечает, потому что не умеет ещё замечать схем, а Вера подливает ему вино — себе на доньшко, ему до края, — и спрашивает, и слушает, и смеётся так, что ему хочется рассказывать ей всё подряд до утра, и он рассказывает, и вино тёплое и сладкое, как сироп от кашля, и в какой-то момент он обнаруживает, что они одни, что свет погашен и горит только гирлянда, оставшаяся с Нового года, и что Вера сидит очень близко и смотрит на него без улыбки, серьёзно, как смотрят перед прыжком в воду.

— Ты же никогда не решишься, да? — говорит она тихо, и это не вопрос и не упрёк, это диагноз, поставленный с нежностью, и прежде чем он успеваает открыть рот, чтобы соврать, что решится, вот прямо завтра, она кладёт ладонь ему на затылок и делает его шаг за него.

Утром он просыпается первым. Гирлянда всё ещё горит. За окном серый февраль, в комнате пахнет вчерашним праздником, у него гудит голова, и рядом, лицом в подушку, спит Вера, выпростав руку поверх одеяла, и он лежит, не шевелясь, и смотрит на эту руку, и понимает с абсолютной, оглушительной ясностью две вещи. Первая: вот теперь его жизнь началась. Вторая — он додумает её только через тридцать лет, в одиночной палате кардиологии, глядя в потолок: самый главный шаг в его жизни сделал не он.

Но это потом. А сейчас Вера, не открывая глаз, не поворачивая головы, говорит в подушку хриплым утренним голосом:

— Только попробуй сейчас сбежать и сделать вид, что ничего не было. Я три месяца ждала, пока ты заметишь, что я тебя люблю.

И он остаётся. Он остаётся на двадцать лет.

## Глава 2

Весна. Allegro, к концу — первые синкопы

Они расписываются в июне, в районном загсе, где перед ними женится пара в спортивных костюмах, а после них — пара, у которой невеста на сносях, и тётка с высокой причёской произносит во все три стороны одни и те же слова про ячейку общества с одной и той же интонацией, как объявляют станции в метро. На Вере платье, перешитое из мамино, на нём пиджак старшего брата, который велик в плечах, и когда фотограф говорит «поцелуйтесь», он целует её так, что тётка с причёской сбивается со своего метро и говорит неожиданно человеческим голосом: ну, дай вам Бог.

Свадьба — это общая кухня на пятом этаже, оливье в эмалированном тазу, портвейн и кассета, на которой после Шуфутинского вдруг начинается Вивальди, потому что кассету писали поверх чьей-то старой, и все кричат «выключи», а Вера говорит — оставь. И они танцуют под «Весну» из «Времени года», неумело, в обнимку, среди общажной кухни, и соседки смеются и плачут, и никто, включая их самих, не знает, что это единственная музыка, которая останется с ним до конца, до самого конца, дольше всех людей.

Потом начинается жизнь, и жизнь — это съёмная квартира в Переделкине, в облезлой трёхэтажке у станции, где лестница пахнет кошками, батареи греют через день, а хозяйка приходит за деньгами первого числа и проверяет, не испортили ли они её сервант, который занимает полкомнаты и в котором они не держат ничего, потому что у них ничего нет. Дыра дырой — но через железную дорогу, за соснами, начинается посёлок писателей, и по воскресеньям Вера тащит его туда гулять, по тихим улицам имени классиков, мимо тёмных дач за глухими заборами, где когда-то жили люди, обласканные властью и тиражами, люди, чьи фамилии знала вся страна, — а теперь заборы покосились, на калитках ржавеют почтовые ящики, набитые прошлогодними газетами, и в магазинчике у станции старик в каракулевой шапке пересчитывает мелочь на хлеб, и продавщица говорит ему «Семён Аркадьевич» с тем особым почтением, с каким говорят с бывшими. Вера читает фамилии на табличках и рассказывает, кто что написал. Он слушает вполуха и думает о своём — о том, как выбраться отсюда наверх. Ему двадцать пять лет, и он ещё не умеет читать декорации: он ходит среди самого внятного в стране музея того, чем кончается успех, и видит только сосны. Диплом он получает в год, когда дипломы ничего не значат. Инженеры торгуют турецкими свитерами, доценты таксуют, и он тоже таксует — вечерами, после работы, которая называется работой условно, потому что платят там через раз и натурой: однажды он приносит домой зарплату ящиком зелёного горошка, и они месяц едят этот горошек, и Вера готовит из него суп, салат и что-то третье, чему нет названия, и они смеются, потому что плакать — это не их жанр, они так договорились ещё в общаге, не словами, а как-то иначе.

Бомбит он на отцовской «шестёрке» цвета «коррида», у которой не работает печка и спидометр показывает на двадцать меньше, чем правда. Он выезжает к девяти вечера в город и стоит с включённым поворотником в ряду таких же — инженеров, доцентов, прапорщиков, — и ночная Москва девяносто девятого года садится к нему на заднее сиденье: челноки с клетчатými сумками, девушки в коротких юбках, которых он возит молча и которым всегда немного боится смотреть в зеркало, мужики из казино — проигравшие просят закурить, выигравших не бывает. А под утро он возвращается по пустому шоссе в своё Переделкино, мимо спящих писательских дач, и выручки за ночь хватает заправить бак и купить пельмени. Это их формула, их валовый внутренний продукт: бензин плюс пельмени. Если остаётся сверху — это

называется «разбогатели», и на «разбогатели» покупается шоколадка «Алёнка», которую Вера режет ножом на дольки, как режут что-то очень ценное.

А в один четверг ноября случается щедрый клиент.

Он берёт его в первом часу ночи от ресторана — большого человека в длинном пальто, от которого пахнет коньяком и хорошей жизнью, и большой человек всю дорогу молчит, глядя в окно на чёрный город, а потом, уже на месте, у дома с консьержем, вдруг спрашивает: женат? Женат, говорит он. Любишь? Люблю, говорит он, и это получается у него мгновенно и без усилия — вот же она, та самая фраза, которую он три месяца не мог сказать ей, а чужому человеку в пальто говорит легко, не задумываясь, и даже не замечает этого, и большой человек кивает, как будто услышал что-то важное про себя, и оставляет на сиденье столько, сколько выходит за две недели бомбёжки. Бери, говорит, не считай. Считать будешь потом всю жизнь.

И он не едет домой. Он разворачивается и едет в обратную сторону, к единственному месту, которое открыто, — к «Макдональдсу» на Пушкинской, светящемуся среди ночи, как космическая станция, и покупает там всё подряд, два пакета, не глядя в цены, впервые в жизни не глядя в цены, а по дороге назад тормозит у цветочного ларька, где замёрзшая продавщица спит сидя, и берёт розы — не три, не пять, а сколько было, охапку. И когда он вваливается в однушку во втором часу ночи, с мороза, с цветами и пакетами, Вера выходит в коридор заспанная, в его старом свитере, готовая спросить «что случилось», — и не спрашивает, а просто смотрит, и начинает смеяться, и плакать, и они среди ночи устраивают пир на кухне под серванта неодобрительным взглядом, едят остывшую картошку, которая всё равно вкуснее всего на свете, и Вера разворачивает все свёртки, как ребёнок под ёлкой.

Последним в пакете лежит пирожок. Вишнёвый, в картонном пенальчике, горячий когда-то, тёплый ещё. И Вера, уже сытая, уже счастливая, вдруг говорит: давай не будем. Давай оставим в холодильнике. Чтобы утром проснуться — а у нас там пирожок, и сразу радостно.

И они оставляют. И это, может быть, главное, что они сделали за всю ту зиму, хотя выглядит как ерунда: положили пирожок в пустой холодильник. Потом, через жизнь, он будет вспоминать не розы и не деньги на сиденье, а вот это: серый рассвет, они открывают холодильник вдвоём, в холодильнике пусто и стоит один пирожок, и они режут его пополам, и это самый богатый завтрак, который у него когда-либо будет, включая все завтраки во всех отелях всех столиц мира.

Весной у него собеседование. Настоящее, в настоящую компанию, где платят деньгами и где из двухсот резюме отобрали девять человек. У него одна приличная рубашка, белая, купленная на свадьбу, и вечером накануне Вера обнаруживает, что на манжете висит пуговица — на одной нитке. Она пришивает её под лампой, медленно, дольше, чем нужно, и он смотрит на её склонённую голову, на карандаш в волосах, и думает, что запомнит это навсегда. Он и запомнит. Просто навсегда — это у всех разной длины.

Утром она поправляет ему воротник, оглядывает, как оглядывают перед боем, и говорит: иди. Ты лучше их всех, просто они об этом ещё не знают. Скажи им.

Он говорит. Его берут.

А дальше время начинает идти иначе — не днями, а кварталами. В двухтысячном рождается Аня, и он стоит под окнами роддома с воздушным шаром и орёт, как орут все отцы под всеми окнами всех роддомов. В две тысячи втором рождается Маша, и под окнами он стоит уже с телефоном у уха, извини, говорит он кому-то в трубку, глядя на окно третьего этажа, где Вера поднимает белый свёрток, — извини, я перезвоню через пять минут, тут у меня важное.

Через пять минут он перезванивает.

## Глава 3

Лето. Presto

Везение приходит, как приходят все главные вещи, — по телефону и не вовремя.

Звонит Лёха, институтский, полузабытый: слушай, тут такое дело. У Лёхиных родителей с начала девяностых — три бывших советских магазина на Пресне, приватизированные в мутную эпоху по мутным правилам: «Овощи-фрукты», «Ткани» и универмаг в два этажа с колоннами. Сами родители — тихие инженеры, которым повезло оказаться в нужном месте со связями нужного родственника, — управлять этим не умеют и боятся: арендаторы не платят, платят чёрным налом, платят кому-то другому, в подвале универмага живут какие-то люди, и недавно приходили какие-то другие люди и интересовались, чьё всё это. Нужен свой. Толковый. Ты же в бизнесе понимаешь?

Он не понимает в бизнесе ничего. Он соглашается сразу.

И выясняется — внезапно для всех, и для него первого, — что у него талант. Не к чему-то возвышенному: к порядку. Он заводит тетрадь, потом вторую, потом компьютер. Он переписывает всех арендаторов — сорок шесть точек, от золота до шаурмы. Он разбирается, кто платит, кто не платит и кто платит не туда. Он учится разговаривать: с хозяином обувной точки — по-свойски, с участковым — уважительно, с людьми, которые интересуются, чьё всё это, — медленно, без лишних слов, с непроницаемым лицом, которое он отрабатывает дома перед зеркалом в ванной, пока Вера укладывает девочку. Через год магазины приносят втрое. Через два — Лёхины родители выписывают ему долю, малую, но долю, и переоформляют на него — премией, в благодарность, по-семейному — одно помещение из своей россыпи: бывшую «Кулинарию» на первом этаже сталинского дома, шестьдесят метров, арендатор — продуктовый. Первое, что в его жизни принадлежит ему. Он приезжает туда вечером, один, трогает ладонью холодную витрину и стоит так минуту. Потом достаёт телефон и до полуночи решает вопрос с протекающей крышей.

А потом через Пресню начинает расти Сити.

Сначала это просто котлован за рекой, ямища, над которой смеётся вся Москва: очередной прожект, закопанные деньги, никогда не построят. Потом из ямищи вылезает первая башня. Потом вторая. И в один прекрасный день в универмаг с колоннами приходят люди в очень хороших костюмах и предлагают продать. Всё, оптом, сейчас, по цене, от которой у Лёхиных родителей-инженеров останавливается дыхание: таких денег они не видели никогда и не увидят больше, бери и беги, и они уже готовы, уже тянутся к ручке —

— и тут он говорит: нет.

Он потом сам не сможет объяснить, откуда взялось это «нет». Он не аналитик, у него нет моделей, у него есть только два года на земле среди этих сорока шести точек — и он печёночкой чувствует то, что ещё не умеет сказать словами: если люди в таких костюмах хотят купить так быстро и так дорого, значит, это стоит дороже. Значит, это будет стоить столько, что продавать сейчас — всё равно что в девяносто восьмом обменять квартиру на видеомэгафон. Он говорит: не продавать. Он говорит: совместное предприятие. Наша земля и стены — ваши деньги и стройка, доля в проекте, в том, что здесь встанет. Люди в костюмах усмеваются и уходят. Возвращаются через месяц. Уходят. Возвращаются. Лёхины родители пьют корвалол и смотрят на него глазами заложников. Лёха молчит и верит — на этом «молчит и верит» потом будет стоять двадцать лет партнёрства.

Через полгода СП подписано.

Дальше время разгоняется так, что годы слипаются. Стройка. Башня. Арендные потоки, от которых вчерашние цифры выглядят опечаткой. Он теперь — управляющий партнёр. У него костюм, сшитый там, где шьют людям в очень хороших костюмах. У него «ауди», и отцовская «шестёрка» цвета «коррида» стоит у родителей под брезентом, потому что продать её отец не дал, а ездить на ней теперь — он сам понимает — нельзя. У него совещания, на которых он говорит мало, и от этого его слушают. У него появляется новая лексика, короткая, как удары: зафиксировали. По существу. Это не обсуждается. Я услышал.

Лексика приходит домой вместе с ним.

Они давно не в Переделкине — своя квартира, потом квартира побольше, ипотека, погашенная досрочно, школа для Ани с углублённым английским, Маша на гимнастике, Вера... Вера дома. Это как-то само собой решилось, без решения: сначала декрет, потом второй декрет, потом «ну куда ты выйдешь, кто с девчонками», потом её отдел сократили, и выходить стало некуда, и вопрос закрылся сам, как закрываются двери с доводчиком — без хлопка, медленно и наглухо. Она ведёт дом, девчонок, его рубашки, его расписание. Она набирает десять килограммов — по килограмму в год, незаметно, как незаметно всё, что происходит по килограмму в год.

Маркер он не заметит. Маркер заметит она.

Ресторан, годовщина свадьбы, он заказал столик у окна — сам, заранее, он молодец и знает это. Подходит официант. И он, не открывая меню, не повернувшись к ней, говорит: даме — сибаса на гриле и белое сухое. Ей. Даме. Сибаса. Человек, который когда-то знал наизусть очередность, в которой она ест — сначала гарнир, потом всё остальное, — который три месяца изучал её, как изучают язык, теперь заказывает за неё не глядя. Она не любит сибаса. Она любит дораду — это рядом, это почти то же самое, это совершенно разные вещи. Она открывает рот, чтобы поправить, — и не поправляет. Официант уходит. Он рассказывает ей про вторую очередь застройки, увлечённо, хорошо рассказывает, он умеет, — а она сидит и смотрит на мужчину в прекрасном костюме, который только что заказал чужой женщине чужую рыбу, и думает мысль, которую тут же запрещает себе думать.

Сибаса она съедает целиком. Он так и не узнает об этом вечере ничего — ни через год, ни через десять, ни в палате, где будет перебирать прошлое по ночам, потому что нельзя вспомнить то, чего не заметил.

А дома, на самой верхней кухонной полке, куда никто не лазит, стоит картонный пенальчик из-под вишнёвого пирожка — Вера тогда вымыла его и спрятала, на счастье. Он переезжал с ними уже дважды. Грузчики оба раза спрашивали: это выбрасываем? Нет, говорила Вера. Это берём.

## Глава 4

### Гроза. Presto, переходящее в тишину

Кисту находят на плановом УЗИ, в среду, в половине одиннадцатого утра. Вере тридцать девять лет.

Она ходит с этим знанием одна четыре дня — не потому что скрывает, а потому что ищет форму: как сказать такое человеку, у которого в четверг совет директоров, а в пятницу перелёт. В воскресенье за завтраком она говорит как есть, без подготовки, глядя в чашку: у меня нашли кисту, большую, врач сказала — оперировать, и возможно... Она не успевает дойти до «возможно».

Потому что он уже включился.

Это надо видеть — как он включается. Спина выпрямляется, взгляд фокусируется, из голоса исчезает всё лишнее. Так, говорит он. Кто смотрел. Где снимки. Почему сразу не позвонила. И уже идёт за телефоном, уже набирает, и его воскресный телефон начинает работать, как штаб: Борисыч, привет, нужен лучший гинеколог-хирург в городе, не хороший — лучший... да... да, своим... перезвони мне сегодня. Через два часа у него есть фамилия. К вечеру — номер мобильного. К утру понедельника Вера записана туда, куда записываются за три месяца, на среду.

И машина едет. Лучший хирург — седой, спокойный, с руками пианиста — смотрит снимки и говорит слова, которые она уже читала ночами в интернете: образование большое, граница с яичником нечёткая, тянуть нельзя, по ходу операции решим объём, готовьтесь к худшему варианту, в её возрасте это разумно. Худший вариант называется коротко и звучит как приговор на латыни. Детей больше не будет — не то чтобы они собирались, девчонкам пятнадцать и тринадцать, но между «не собирались» и «не будет никогда» лежит пропасть, которую женщина переходит в одиночку, и Вера переходит её в одиночку — в очередях на анализы, в гулких коридорах, в ночи, когда она лежит без сна и слушает ровное дыхание мужа, которому завтра рано вставать.

А он делает всё. Вот что потом будет невозможно объяснить ни одной подруге, ни одному психологу, ни себе самой: он делает всё. Платная палата — лучшая, угловая, с окном на парк. Гистология — срочная, по знакомству, не неделя, а два дня. Эндокринолог для подбора заместительной терапии — профессор, светило, к которому не попасть, — найден и оплачен вперёд. Сиделка на первые сутки. Соки, фрукты, халат, тапочки — куплены его помощницей по списку, составленному его помощницей. Ни один пункт не провален. Ни один. Другие мужья в этом коридоре сидят серые, растерянные, бесполезные, комкают пакеты — и жёны держат их за руки, утешая их в собственной болезни. Её муж не растерян. Её муж решает вопрос. Ей все завидуют: девочки, какой мужик, за таким как за стеной.

За стеной. Она потом найдёт это слово точным до смешного: стена — это то, что рядом, и то, что не обнимает.

Вечер накануне операции он проводит у неё в палате. То есть — в палате находится его тело в прекрасном костюме, сидит на стуле у окна, а сам он в телефоне: вторая очередь, банк, юристы, что-то горит, что-то всегда горит. Она лежит и смотрит на него. Ей надо сказать ему одну вещь — простую, постыдную, детскую: мне страшно. Мне так страшно, что холодные руки. Посиди со мной просто так, выключи телефон, возьми меня за руку и не решай ничего. Она набирает воздуха —

— и в этот момент он поднимает голову от экрана и говорит: всё будет хорошо. Я обо всём договорился.

И выходит в коридор, дописывать письмо, потому что в палате неудобно говорить по громкой.

Утром её везут на каталке по коридору, и он идёт рядом — но говорит не с ней, а с хирургом, на своём коротком языке: сколько по времени, когда первая информация, кому звонить. У дверей операционной он наклоняется, целует её в лоб — сухо, точно, как ставят печать — и говорит: я на связи. Последнее, что она видит, проваливаясь в наркоз, — не его лицо. Его лицо она не успевает найти: он уже отвернулся к врачу.

Операция проходит штатно. Худший вариант подтверждается буднично, одной строкой в выписке. Гистология чистая — все поздравляют, и это правильное слово, потому что бывает страшнее, потому что она будет жить. Терапия подобрана с первого раза, профессор доволен: редкий случай, говорит, обычно подбираем месяцами. Через одиннадцать дней её выписывают. Он присылает за ней машину с водителем — сам не может, сам в этот день подписывает то, что нельзя перенести. Дома её ждут цветы. Охапка роз. Карточка с логотипом цветочной компании: «Поправляйся! Мы тебя любим». Текст диктовала помощница, Вера узнаёт её слог.

Дальше — два месяца, о которых нечего рассказать, и в этом весь ужас. Всё налаживается. Швы заживают. Таблетки разложены по дням недели в пластиковой коробочке. Он внимателен — спрашивает по вечерам «как ты?» и слушает ответ секунд десять, искренне слушает, по-настоящему, все десять секунд. Жизнь возвращается в колею, и по колее видно, что колея — это всё, что осталось.

А в четверг в конце апреля, обычным вечером, когда девчонки разошлись по комнатам, а он рассказывает ей за чаем что-то про налоговую реструктуризацию, Вера ставит чашку на стол — аккуратно, без стука — и говорит: подожди. Мне надо тебе сказать.

И говорит. Спокойно, ровно, не заплакав ни разу, — и по этой ровности слышно, что текст готов давно, что он сложился ночами, в палате, в коридорах, и сейчас она просто впервые произносит его вслух:

— Я полюбила тебя того. Того, на «шестёрке», с пирожком. Я старалась принять тебя тем, каким ты стал, — честно старалась, много лет. Я не буду говорить, что ты меня предал. Не буду говорить, что отдала тебе лучшие годы. Ты ни при чём. Проблема во мне: я, по факту, адская терпила. Которая терпела и ждала. Ждала, что ты меня опять заметишь. Не полюбишь — этого я уже давно не жду. Просто заметишь.

Тишина. Холодильник на кухне включается и гудит.

Он сидит неподвижно, и внутри него идёт невидимая снаружи работа: он ищет, что здесь можно сделать, — и не находит. Будь это претензия — он бы возразил. Будь это условие — он бы выполнил. Будь это про деньги, про измену, про обиду — он знал бы протокол. Но она сконструировала единственную задачу, у которой нет решения: она объявила проблему своей. «Дело во мне» — на это нечего возразить, не споря с ней, а спорить с ней он сейчас не может, потому что где-то очень глубоко, в подвале, куда он не спускается, он знает, что каждое её слово — правда.

И он соглашается.

— Я понял тебя, — говорит он. Ровно. С уважением. И с облегчением — крошечным, постыдным, которого он сам в себе не заметит: нерешаемая задача снята с исполнения. — Скажи, как ты хочешь всё устроить.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.